

22  
ФЕДОР СТЕПУН

БЫВШЕЕ  
И  
НЕСБЫВШЕЕСЯ

Том I

16



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

1956

**ФЕДОР СТЕПУН**  
**БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ**  
**Том I**

**ФЕДОР СТЕПУН**

**БЫВШЕЕ  
И  
НЕСБЫВШЕЕСЯ**

**Том I**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА**

---

**Нью-Йорк**

**1956**

шие редакционные вечера. Молодое дело велось настолько широко, что приглашались и москвичи: Цветаева, я и другие. Всем нам оплачивалась дорога и пребывание в столице.

Как сейчас стоит перед глазами обставленная с артистической небрежностью небольшая одухотворенная квартира редакции. Недалеко от камина — широкая, покрытая персидским ковром тахта, на которой, щурясь от папиросного дыма и становясь от этого похожей на японку, сидит с виду тишайшая, но внутренне горячая Софья Исаковна Чацкина. В 1919-м году я с трудом разыскал ее в Москве в подвале дома писателей на Поварской. Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашу в выщербленной ночной посуде. Что можно было, мы с женой для нее сделали, но многого сделать было нельзя. Она была душевно уже окончательно надломлена и вскоре умерла.

На собрании сотрудников и друзей «Северных записок» я познакомился с большим количеством петербуржцев. Больше всех ценю Софью Исаковну и ее кругом Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась. Того большого, глубокого человека, которого в ней сразу разгадал Вячеслав Иванов, я поначалу в поэтессе не почувствовал. Быть может, оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой медвежьей шкуре, окруженная какими-то, на петербургский лад изящными, перепудренными и продушенными визитками.

Среди этих выхоленных юношей чужаком мелькал Сергей Есенин, похожий на игрушечного паренька из кустарного музея: пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик. В манере откидывать назад голову — «задор разлуки и свободы». Он только еще начинал входить в моду. «Северные записки» весьма покровительствовали ему.

Познакомился я и с Алексеем Михайловичем Ремизовым и свое первое посещение его помню во всех

подробностях. Случилось так, что, поднимаясь к нему на лифте, я застрял между этажами и, не зная, что делать, начал громко кричать: «Застрял, Алексей Михайлович, спасите».

Тому, кто никогда не видел Ремизова, описать его внешность, да еще в момент его перепуганного появления у коварного лифта, почти невозможно. Я уже отмечал богатую лепку человеческих обликов на переходе 19-го века к 20-му. Ремизов и среди этого богатства поражал какой-то особой примечательностью. Небольшое сутуловатое туловище на длинных слабых ногах, лицо как будто простое, а не оторвешься. Глаза — гляделки в морщинках, но если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если приклеить к ремизовскому лицу жидкую бородку — выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку — получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его поношенный пиджачишко в рубище — Ремизов превратится в юродивого под монастырской стеной...

Кабинетик, в который ввел меня Алексей Михайлович, был единственной в своем роде писательской кельей. Впоследствии, уже в эмиграции, я сживал в такой же ремизовской келье сначала в Берлине, а потом и в Париже.

Вместо обычных книжных полок, по стенам стояли прилаженные один над другим и обклеенные золотой, серебряной и голубой бумагой случайные ящики, до отказа набитые старинными изданиями и истрепанными книжонками. Под потолком из угла в угол тянулись бичевки, целая сеть, на подобие паутины. На бичевках — совершенно невероятные вещи: сучки, веточки, лоскутики, палочки, косточки, рыбы скелетики, не то игрушки, не то фетиши, разные ремизовские коловертыши, кикиморы, пауки, скрипники...

Кроме «Пруда» и «Крестовых сестер», я из ремизовских произведений тогда еще ничего не читал, со

сказочную мифологией писателя знаком не был и потому смотрел на все его подпотолочные диковины с разинутым ртом. Алексей Михайлович стоял рядом со мною все еще в том огромном женином платке, в котором он выскочил на лестницу и со странными на мой тогдашний взгляд ужимками, подмигками и подхихкиваниями тихонечко рассказывал о своей сновидчески-творческой жизни. Я слушал, внимательно всматривался в мучительно наморщенный лоб Ремизова, но сердцем и фантазией его мира не воспринимал. Окончив свои пояснения, Алексей Михайлович засуетился, застеснялся: «Уж и не знаю, чем вас поподчевать. Поставил бы самоварчик, да жены, Серафимы Павловны, нет, а без нее мне не осилить. Могу сон разгадать, пасьянс разложить и, если расстегнете душку, русскими духами надушить».

Раскладывания пасьянса не помню, но разгадывание сна, который мне пришлось наскоро выдумать, и процедуру натирания груди какими-то крепкими, пахнущими спиртовым лаком духами, которые Алексей Михайлович, если не ошибаюсь, называл ядовито-змеиным именем «сколопендры», на всю жизнь остались в памяти. До сих пор не знаю, с чего это Ремизову пришлось в голову угощать меня своим душистым массажем. Все хотел спросить его, да как-то не спросилось, а теперь боюсь, что и поздно. Война, конечно, когда-нибудь кончится, может быть через год, может быть через пять лет, когда — этого сейчас никто не знает. Но восстановится ли для нас, эмигрантов, с ее окончанием свобода передвижения по Европе — еще не известно. Может быть, возьмут да и запрут нас, нищих и никому не нужных, по разным странам, как по железным клеткам. Так запрут, что уже никогда больше не увидишь Парижа, не посидишь перед отправкой в последний путь в кругу своих людей, помнящих то же, что помнишь и ты, и на то же, что и ты уповающих. Стареем мы, редуют наши ряды. Минутами даже самым

сильным и благополучным среди нас становится страшно жить. Каково же должно быть бедному Ремизову? Так и вижу его затравленную, голодную мышью, сидящим в своей комнате вместе со своими «коловертышами» и «ауками». А, может быть, его там и нету, где мы с женою были у него во время Всемирной выставки в 1937-м году? Как знать, что сейчас делается в Париже, который через несколько дней, вероятно, займут нацисты?

Сегодня весь день перечитывал «Взвихренную Русь». До чего же замечательно сделана эта книга, до чего сложно инструментован в ней плач по России, до чего разительно сплетены ее многообразные темы, до чего смело противопоставлены в ней явь и сон, трагические и комические стороны жизни; и, главное, каким она написана своеобразно-изысканным языком! Каждая фраза — искуснейше выкованный орнамент, не расплавляемый даже и адским огнем ее самых страшных страниц.

Подобно князю Мышкину, Ремизов большой каллиграф, тонкий знаток и любитель старинного, витиеватого росчерка. Живо представляю себе, как он, изловчившись, сидит у своего простого (не письменного) стола и со вкусом выводит: «Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Проблема внутреннего почерка представляется мне одною из основных проблем ремизовского искусства. Он не «нутряной» талант в духе Куприна или Алексея Толстого — он словесных дел мастер, искусник, стилизатор-орнаменталист, малодоступный широкой читательской публике. В его изысканном стилизаторстве древние мотивы, апокрифы, жития, легенды и сказания причудливо переплетаются с ухищреннейшими литературными приемами современного умного упадочничества.

Хотя, быть может, и обидится на меня Алексей Михайлович, а все же скажу, что его искусство лишь отчасти на древнем корню цветет, иной же раз лишь к

своему древнему корню тянется. Много в этом искусстве чудесного, но немало также и чудного, чудачествующего, как бы на сцене перед самим собою со смаком разыгрываемого (Алексей Михайлович большой актер и прекраснейший чтец). За многими страницами Ремизова во мне не раз подымалось желание, чтобы он всю свою великую боль о человеке, свой испуг перед жизнью, свою пламенную горькую страсть взял да и ринул бы прямо мне в душу безо всякого стилизаторства.

Но не хочу критиковать, каждому свое; и Ремизову, тонкому знатоку и сознательному обогатителю «великого, могучего, правдивого и свободного русского языка», за все его древние словеса и затейливые словечки не только спасибо, но слава и честь. Настоящих, природных писателей, огненных душ, горячих словолюбов становится с каждым годом все меньше и меньше...

---

«Северные записки» были, как все толстые русские журналы, журналом не только литературным, но и общественно-политическим. На редакционных раутах бывали поэтому и политики. Близким другом редакции был Григорий Адольфович Ландау. Природа наделила Григория Адольфовича блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в галицийском окопе только-что появившуюся в «Северных записках» статью Ландау «Сумерки Европы». В этой замечательной статье было уже в 1914-м году высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру. Появившаяся в берлинском издательстве «Слово» в 1923-м году под тем же заглавием